

От редакции. Статья профессора Френсиса Фукуямы «Конец истории?» вышла в свет летом 1989 года в журнале «Нэшнл интерест» (США). Она была переведена во многих странах и сразу вызвала широкие отклики. И это не случайно. Ф. Фукуяма поднимает проблемы, носящие общечеловеческий характер, хотя, конечно, со многими выводами автора нельзя согласиться. Ниже мы публикуем полный текст статьи, а также послесловие Ю. А. Замошкина.

## Конец истории?

ФРЕНСИС ФУКУЯМА

Наблюдая, как разворачиваются события в последнее десятилетие или около того, трудно избавиться от ощущения, что во всемирной истории происходит нечто фундаментальное. В прошлом году появилась масса статей, в которых был провозглашен конец холодной войны и наступление «мира». В большинстве этих материалов, впрочем, нет концепции, которая позволяла бы отделить существенное от случайного; они поверхностны. Так что если бы вдруг г-н Горбачев был изгнан из Кремля, а некий новый аятолла возвестил 1000-летнее царство, эти же комментаторы кинулись бы с новостями о возрождении эры конфликтов.

И все же растет понимание того, что идущий процесс имеет фундаментальный характер, внося связь и порядок в текущие события. На наших глазах в двадцатом веке мир был охвачен пароксизмом идеологического насилия, когда либерализму пришлось бороться сначала с остатками абсолютизма, затем с большевизмом и фашизмом и, наконец, с новейшим марксизмом, грозившим втянуть нас в апокалипсис ядерной войны. Но этот век, вначале столь уверенный в триумфе западной либеральной демократии, возвращается теперь, под конец, к тому, с чего начал: не к предсказывавшемуся еще недавно «концу идеологии» или конвергенции капитализма и социализма, а к неоспоримой победе экономического и политического либерализма.

Триумф Запада, западной *идеи* очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. В последнее десятилетие изменилась интеллектуальная атмосфера крупнейших коммунистических стран, в них начались важные реформы. Этот феномен выходит за рамки высокой политики, его можно наблюдать и в широком распространении западной потребительской культуры, в самых разнообразных ее видах: это крестьянские рынки и цветные телевизоры — в нынешнем Китае вездесущие; открытые в прошлом году в Москве кооперативные рестораны и магазины одежды; переложенный на японский лад Бетховен в токйских лавках; и рок-музыка, которой с равным удовольствием внимают в Праге, Рангуне и Тегеране.

То, чему мы, вероятно, свидетели, — не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение

идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления. Это не означает, что в дальнейшем никаких событий происходить не будет и страницы ежегодных обзоров «Форин Аффэрз» по международным отношениям будут пустовать, — ведь либерализм победил пока только в сфере идей сознания; в реальном, материальном мире до победы еще далеко. Однако имеются серьезные основания считать, что именно этот, идеальный мир и определит в конечном счете мир материальный. Чтобы понять, почему это так, следует вначале рассмотреть некоторые теоретические вопросы, связанные с природой происходящих в истории изменений.

## I

Представление о конце истории нельзя признать оригинальным. Наиболее известный его пропагандист — это Карл Маркс, полагавший, что историческое развитие, определяемое взаимодействием материальных сил, имеет целенаправленный характер и закончится, лишь достигнув коммунистической утопии, которая и разрешит все противоречия. Впрочем, эта концепция истории — как диалектического процесса с началом, серединой и концом — была позаимствована Марксом у его великого немецкого предшественника, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.

Плохо ли, хорошо ли это, но многое из гегелевского историзма вошло в сегодняшний интеллектуальный багаж. Скажем, представление о том, что сознание человечества прошло ряд этапов, соответствовавших конкретным формам социальной организации, таким как родоплеменная, рабовладельческая, теократическая и, наконец, демократически-эгалитарная. Гегель первым из философов стал говорить на языке современной социальной науки, для него человек — продукт конкретной исторической и социальной среды, а не совокупность тех или иных «естественных» атрибутов, как это было для теоретиков «естественного права». И это именно гегелевская идея — а не собственно марксистская — овладеть естественной средой и преобразовать ее с помощью науки и техники. В отличие от позднейших историков, исторический релятивизм которых выродился в релятивизм tout court\*, Гегель полагал, что в некий абсолютный момент история достигает кульминации — в тот именно момент, когда побеждает окончательная, разумная форма общества и государства.

К несчастью для Гегеля, его знают ныне как предтечу Маркса и смотрят на него сквозь призму марксизма; лишь немногие из нас потрудились ознакомиться с его работами напрямую. Впрочем, во Франции предпринималась попытка спасти Гегеля от интерпретаторов-марксистов и воскресить его как философа, идеи которого могут иметь значение для современности. Наиболее значительным среди этих французских истолкователей Гегеля был, несомненно, Александр Кожев, блестящий русский эмигрант, который вел в 30-х гг. ряд семинаров в парижской Ecole Pratique des Hautes Etudes<sup>1</sup>. Почти не известный в Соединенных Штатах, Кожев оказал большое влияние на интеллектуальную жизнь европейского континента. Среди его студентов числились такие будущие светила, как Жан Поль Сартр — слева и Раймон Арон — справа; именно *через Кожева* послевоенный экзистенциализм позаимствовал у Гегеля многие свои категории.

Кожев стремился воскресить Гегеля периода «Феноменологии духа», — Гегеля, провозгласившего в 1806 г., что история подходит к концу. Ибо уже тогда Гегель видел в поражении, нанесенном Наполеоном Прусской монархии, победу идеалов Французской революции и надвигающуюся универсализацию государства, воплотившего принципы свободы и равенства. Кожев настаивал, что по существу Гегель оказался прав<sup>2</sup>. Битва при Йене означала конец истории, так как именно в этот

\* Вот и все, только (фр.). — прим. перев.

<sup>1</sup> Наиболее известна работа Кожева «Введение в чтение Гегеля», запись лекций в Ecole Pratique в 30-х гг. (Kojève A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris, Gallimard, 1947). Книга переведена на английский язык (Kojève A. Introduction to the Reading of Hegel. New York: Basic Books, 1969).

<sup>2</sup> В этом отношении взгляды Кожева весьма отличаются от некоторых немецких интерпретаций Гегеля, например, Гербертом Маркузе, который, больше симпатизируя Марксу, считал философию Гегеля исторически ограниченной и незавершенной.

момент с помощью авангарда человечества (этот термин хорошо знаком марксистам) принципы Французской революции были претворены в действительность. И хотя после 1806 г. предстояло еще много работы — впереди была отмена рабства и работорговли, надо было предоставить избирательные права рабочим, женщинам, неграм и другим расовым меньшинствам и т. д., — но сами принципы либерально-демократического государства с тех пор уже не могли быть улучшены. В нашем столетии две мировые войны и сопутствовавшие им революции и перевороты помогли пространственному распространению данных принципов, в результате провинция была поднята до уровня форпостов цивилизации, а соответствующие общества Европы и Северной Америки выдвинулись в авангард цивилизации, чтобы осуществить принципы либерализма.

Появляющееся в конце истории государство либерально — поскольку признает и защищает, через систему законов, неотъемлемое право человека на свободу; и оно демократично — поскольку существует с согласия подданных. По Кожеву, это, как он его называет, «общечеловеческое государство» \* нашло реально-жизненное воплощение в странах послевоенной Западной Европы — в этих вялых, пресыщенных, самодовольных, интересующихся только собою, слабовольных государствах, самым грандиозным и героическим проектом которых был Общй рынок<sup>3</sup>. Но могло ли быть иначе? Ведь человеческая история с ее конфликтами зиждется на существовании «противоречий»: здесь стремление древнего человека к признанию, диалектика господина и раба, преобразование природы и овладение ею, борьба за всеобщие права и дихотомия между пролетарием и капиталистом. В общечеловеческом же государстве разрешены все противоречия и утолены все потребности. Нет борьбы, нет серьезных конфликтов, поэтому нет нужды в генералах и государственных деятелях; а что осталось, так это главным образом экономическая деятельность. Надо сказать, что Кожев следовал своему учению и в жизни. Посчитав, что для философов не осталось никакой работы, поскольку Гегель (правильно понятый) уже достиг абсолютного знания, Кожев после войны оставил преподавание и до самой своей смерти в 1968 г. служил в ЕЭС чиновником.

Для современников провозглашение Кожевом конца истории, конечно, выглядело как типичный эксцентрический солипсизм французского интеллектуала, вызванный последствиями мировой войны и начавшейся войны холодной. И все же, как Кожеву хватило дерзости утверждать, что история закончилась? Чтобы понять это, мы должны уяснить связь этого утверждения с гегелевским идеализмом.

## II

Для Гегеля противоречия, движущие историей, существуют прежде всего в сфере человеческого сознания, т. е. на уровне идей<sup>4</sup>; — не в смысле тривиальных предвыборных обещаний американских политиков, но как широких объединяющих картин мира; лучше всего назвать их идеологией. Последняя, в этом смысле, не сводится к политическим доктринам, которые мы с ней привычно ассоциируем, но включает также лежащие в основе любого общества религию, культуру и нравственные ценности.

Точка зрения Гегеля на отношение идеального и реального, материального мира крайне сложна; начать с того, что для него различие между ними есть лишь видимость<sup>5</sup>. Для него реальный мир не подчиняется идеологическим предрассудкам профессоров философии; но нельзя сказать, что идеальное у него ведет независимую от «материального» мира жизнь. Гегель, сам будучи профессором, оказался на

\* В оригинале — «universal homogenous state», т. е., буквально, — «универсальное гомогенетическое государство» (прим. перев.).

<sup>3</sup> Другим вариантом конца истории Кожев считал послевоенный «американский образ жизни», к которому, полагал он, идет и Советский Союз.

<sup>4</sup> Это выражено в знаменитом афоризме, из предисловия к «Философии истории»: «все разумное действительно, все действительно разумно».

<sup>5</sup> Для Гегеля сама дихотомия идеального и материального мира — видимость, и в конечном счете преодолевается самосознающим субъектом; в его системе материальный мир сам лишь аспект духа.

какое-то время выбитым из колеи таким весьма материальным событием, как битва при Йене. Однако если писания Гегеля или его мышление могла оборвать пуля, выпущенная из материального мира, то палец на спусковом крючке в свою очередь был движим идеями свободы и равенства, вдохновившими Французскую революцию.

Для Гегеля все человеческое поведение в материальном мире и, следовательно, вся человеческая история укоренены в предшествующем состоянии сознания — похожую идею позже высказывал и Джон Мейнард Кейнс, считавший, что взгляды деловых людей обыкновенно представляют собой смесь из идей усопших экономистов и академических бумагомарак предыдущих поколений. Это сознание порою недостаточно продуманно, в отличие от новейших политических учений; оно может принимать форму религии или простых культурных или моральных обычаев. Но в конце концов эта сфера сознания с необходимостью воплощается в материальном мире, даже — творит этот материальный мир по своему образу и подобию. Сознание — причина, а не следствие, и оно не может развиваться независимо от материального мира; поэтому реальной подоплекой окружающей нас событийной пуганицы служит идеология.

У позднейших мыслителей гегелевский идеализм стал влачить убогое существование. Маркс перевернул отношение между реальным и идеальным, отписав целую сферу сознания — религию, искусство и самую философию — в пользу «надстройки», которая полностью детерминирована у него преобладающим материальным способом производства. Еще одно прискорбное наследие марксизма состоит в том, что мы склонны предаваться материальным или утилитарным объяснениям политических и исторических явлений; мы не расположены верить в самостоятельную силу идей. Последним примером этого служит имевшая большой успех книга Пола Кеннеди «Возвышение и упадок великих держав» (Kennedy P. «The Rise and Fall of the Great Powers»); в ней падение великих держав объясняется просто — экономическим перенапряжением. Конечно, доля истины в этом имеется: империя, экономика которой еле-еле справляется с тем, чтобы себя содержать, не может до бесконечности расписываться в своей несостоятельности. Однако на что именно общество решит выделить 3 или 7 процентов своего ВВП (валового национального продукта) — на оборону либо на нужды потребления, есть вопрос политических приоритетов этого общества, а последние определяются в сфере сознания.

Материалистический уклон современного мышления характерен не только для левых, симпатизирующих марксизму людей, но и для многих страстных антимарксистов. Так, скажем, на правом крыле находится школа материалистического детерминизма журнала «Уолл стрит джорнэл», не признающая значения идеологии в культуре и рассматривающая человека как, в сущности, разумного, стремящегося к максимальной прибыли индивида. Именно человека такого типа вместе с движущими им материальными стимулами берут за основу экономической жизни и учебники по экономике<sup>6</sup>. Проиллюстрируем сомнительность этих материалистических взглядов на примере.

Макс Вебер начинает свою знаменитую книгу «Протестантская этика и дух капитализма» указанием на различия в экономической деятельности протестантов и католиков. Эти различия подытожены в пословице: «протестанты славно вкушают, католики мирно почивают». Вебер отмечает, что в соответствии с любой экономической теорией, по которой человек есть разумное существо, стремящееся к максимальной прибыли, повышение расценок должно вести к повышению производительности труда. Однако во многих традиционных крестьянских общинах это дает обратный эффект — снижения производительности труда: при более высоких расценках крестьянин, привыкший зарабатывать две с половиной марки в день, обнаруживает, что может заработать ту же сумму, работая меньше, и так и поступает. Выбор в пользу досуга, а не дохода, в пользу, далее, военизированного образа

<sup>6</sup> Надо сказать, что современные экономисты, признавая, что поведение человека не всегда определяется исключительно стремлением к максимальной прибыли, предполагают в нем также способность к получению «пользы», — пользы, понимаемой как доход или какие-то другие блага, которые могут быть приумножены: досуг, секс или радости философствования. То, что вместо прибыли мы имеем теперь пользу, — еще одно подтверждение точки зрения идеализма.

жизни спартанского гоцлита, а не благополучного жития-бытия афинского торговца, или даже в пользу аскетичной жизни предпринимателя периода раннего капитализма, а не традиционного времяпрепровождения аристократа, — никак нельзя объяснить безликим действием материальных сил; выбор происходит преимущественно в сфере сознания, в идеологии. Центральная тема работы Вебера — доказать вопреки Марксу, что материальный способ производства — не «базис», а, наоборот, «надстройка», имеющая корни в религии и культуре. И если мы хотим понять, что такое современный капитализм и мотив прибыли, следует, по Веберу, изучать имеющиеся в сфере сознания предпосылки того и другого.

Современный мир обнажает всю нищету материалистических теорий экономического развития. Школа материалистического детерминизма журнала «Уолл стрит джорнэл» любит приводить в качестве свидетельства жизнеспособности свободной рыночной экономики ошеломляющий экономический успех Азии в последние несколько десятилетий; делается вывод, что и другие общества достигли бы подобных успехов, позволяй они своему населению свободно следовать материальным интересам. Конечно, свободные рынки и стабильные политические системы — непременное условие экономического роста. Но столь же несомненно и то, что культурное наследие дальневосточных обществ, этика труда, семейной жизни, бережливость, религия, которая, в отличие от ислама, не накладывает ограничений на формы экономического поведения, и другие прочно сидящие в людях моральные качества никак не менее значимы при объяснении их экономической деятельности.<sup>7</sup> И все же интеллектуальное влияние материализма таково, что ни одна из серьезных современных теорий экономического развития не принимает сознание и культуру всерьез, не видит, что это, в сущности, материнское лоно экономики.

Непонимание того, что экономическое поведение обусловлено сознанием и культурой, приводит к распространенной ошибке: объяснять даже идеальные по природе явления материальными причинами. Китайская реформа, например, а в последнее время и реформа в Советском Союзе обычно трактуются как победа материального над идеальным, — как признание того, что идеологические стимулы не смогли заменить материальных и для целей преуспевания следует апеллировать к низшим формам личной выгоды. Однако, глубокие изъяны социалистической экономики были всем очевидны уже тридцать или сорок лет назад. Почему же страны стали отходить от централизованного планирования только в 80-х? Ответ следует искать в сознании элиты и ее лидеров, решивших сделать выбор в пользу «протестантского» благополучия и риска и отказаться от «католической» бедности и безопасного существования.<sup>8</sup> И это ни в коем случае не было неизбежным следствием материальных условий, в которых эти страны находились накануне реформы. Напротив, изменение произошло в результате того, что одна идея победила другую.<sup>9</sup>

Для Кожева, как и для всех гегельянцев, глубинные процессы истории обусловлены событиями, происходящими в сознании, или сфере идей, поскольку в итоге именно сознание переделывает мир по своему образу и подобию. Тезис о конце истории в 1806 г. означал, что идеологическая эволюция человечества завершилась на идеалах Французской и Американской революций; и, хотя какие-то режимы в реальном мире полностью их не осуществили, теоретическая истинность самих

<sup>7</sup> Достаточно сравнить поведение вьетнамских иммигрантов в американской школе с поведением их одноклассников-негров или латиноамериканцев, чтобы понять, что культура и сознание играют действительно решающую роль, и не только в экономическом поведении, но и практически во всех других важных сторонах жизни.

<sup>8</sup> Полное объяснение причин реформы в Китае и России является, конечно, гораздо более сложным. Советская реформа, например, в значительной мере была мотивирована ощущением *небезопасности* в области военной технологии. Но все же ни та, ни другая страна накануне реформ не находилась в таком уж материальном кризисе, чтобы возможно было предсказать те поразительные пути реформы, на которые они вступили.

<sup>9</sup> И до сих пор неясно, являются ли советские народы «протестантами» в той же мере, что и Горбачев, и пойдут ли за ним по этому пути.

идеалов абсолюта и улучшить их нельзя. Поэтому Кожева не беспокоило, что сознание послевоенного поколения европейцев не стало универсальным; если идеологическое развитие действительно завершилось, то общечеловеческое государство рано или поздно все равно должно победить.

У меня здесь нет ни места, ни, откровенно говоря, сил защищать в деталях радикальные идеалистические взгляды Гегеля. Вопрос не в том, правильна ли его система, а в том, насколько хорошо видна в ее свете проблематичность материалистических объяснений, часто принимаемых нами за само собою разумеющиеся. Дело не в том, чтобы отрицать роль материальных факторов как таковых. С точки зрения идеалиста, человеческое общество может быть построено на любых произвольно выбранных принципах, независимо от того, согласуются ли эти принципы с материальным миром. И на самом деле, люди доказали, что способны переносить любые материальные невзгоды во имя идей, существующих исключительно в сфере духа, идет ли речь о священных коровах или о Святой Троице<sup>10</sup>.

Но поскольку само человеческое восприятие материального мира обусловлено осознанием этого мира, имеющим место в истории, то и материальный мир вполне может оказывать влияние на жизнеспособность конкретного состояния сознания. В частности, впечатляющее материальное изобилие в развитых либеральных экономиках и на их основе — бесконечно разнообразная культура потребления, видимо, питают и поддерживают либерализм в политической сфере. Согласно материалистическому детерминизму, либеральная экономика неизбежно порождает и либеральную политику. Я же, наоборот, считаю, что и экономика и политика предполагают автономное предшествующее им состояние сознания, благодаря которому они только и возможны. Состояние сознания, благоприятствующее либерализму, в конце истории стабилизируется, если оно обеспечено упомянутым изобилием. Мы могли бы резюмировать: общечеловеческое государство — это либеральная демократия в политической сфере, сочетающаяся с видео и стерео в свободной продаже — в сфере экономики.

### III

Действительно ли мы подошли к концу истории? Другими словами, существуют ли еще какие-то фундаментальные «противоречия», разрешить которые современный либерализм бессилён, но которые разрешались бы в рамках некоего альтернативного политико-экономического устройства? Поскольку мы исходим из идеалистических посылок, то должны искать ответ в сфере идеологии и сознания. Мы не будем разбирать все вызовы либерализму, исходящие в том числе и от всяких чокнутых мессий; нас будет интересовать лишь то, что воплощено в значимых социальных и политических силах и движениях и является частью мировой истории. Неважно, какие там еще мысли приходят в голову жителям Албании или Буркина-Фасо; интересно лишь то, что можно было бы назвать общим для всего человечества идеологическим фондом.

В уходящем столетии либерализму были брошены два главных вызова — фашизм<sup>11</sup> и коммунизм. Согласно первому, политическая слабость Запада, его материализм, моральное разложение, утрата единства суть фундаментальные противоречия либеральных обществ; разрешить их могли бы, с его точки зрения, только сильное государство и «новый человек», опирающиеся на идею национальной исключительности. Как жизнеспособная идеология фашизм был сокрушен Второй мировой войной. Это, конечно, было весьма материальное поражение, но оно ока-

<sup>10</sup> Внутренняя политика Византийской империи при Юстиниане вращалась вокруг конфликта между монофизитами и монофелитами, расхлывшимися по вопросу о единстве Святой Троицы. Этот конфликт, напоминающий столкновение между болельщиками на византийском ипподроме, привел к значительному политическому насилию. Современные историки склонны усматривать причины подобных конфликтов в антагонизме между общественными классами или прибегая к другим экономическим категориям; они никак не хотят понять, что люди способны убивать друг друга, всего лишь разойдясь в вопросе о природе Троицы.

<sup>11</sup> Я не употребляю здесь термина «фашизм» в его точном смысле, поскольку им часто злоупотребляют в целях компрометации неугодных лиц. «Фашизм» здесь — любое организованное ультра националистическое движение с претензиями на уни-

залось также и поражением идеи. Фашизм был сокрушен не моральным отвращением, ибо многие относились к нему с одобрением, пока видели в нем веяние будущего; *сама идея потерпела неудачу*. После войны люди стали думать, что германский фашизм, как и другие европейские и азиатские его варианты, был обречен на гибель. Каких-либо материальных причин, исключавших появление после войны новых фашистских движений в других регионах, не было; все заключалось в том, что экспансионистский, ультранационализм, обещая бесконечные конфликты и в конечном итоге военную катастрофу, лишился всякой привлекательности. Под руинами рейхсканцелярии, как и под атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки, эта идеология погибла не только материально, но и на уровне сознания; и все протофашистские движения, порожденные германским и японским примером, такие как перонизм в Аргентине или Индийская национальная армия Сабхаса Чандры Боса, после войны зачахли.

Гораздо более серьезным был идеологический вызов, брошенный либерализму второй великой альтернативой, коммунизмом. Маркс утверждал, на гегелевском языке, что либеральному обществу присуще фундаментальное неразрешимое противоречие: это — противоречие между трудом и капиталом. Впоследствии оно служило главным обвинением против либерализма. Разумеется, классовый вопрос успешно решен Западом. Как отмечал (в числе прочих) Кожев, современный американский эгалитаризм и представляет собой то бесклассовое общество, которое провидел Маркс. Это не означает, что в Соединенных Штатах нет богатых и бедных или что разрыв между ними в последние годы не увеличился. Однако корни экономического неравенства — не в правовой и социальной структуре нашего общества, которое остается фундаментально эгалитарным и умеренно перераспределительным; дело скорее в культурных и социальных характеристиках составляющих его групп, доставшихся по наследству от прошлого. Негритянская проблема в Соединенных Штатах — продукт не либерализма, но рабства, сохранявшегося еще долгое время после того, как было формально отменено.

Поскольку классовый вопрос отошел на второй план, привлекательность коммунизма в западном мире — это можно утверждать смело — сегодня находится на самом низком уровне со времени окончания Первой мировой войны. Судить об этом можно по чему угодно: по сокращающейся численности членов и избирателей главных европейских коммунистических партий и их открыто ревизионистским программам; по успеху на выборах консервативных партий в Великобритании и ФРГ, Соединенных Штатах и Японии, выступающих за рынок и против этатизма; по интеллектуальному климату, наиболее «продвинутое» представители которого уже не верят, что буржуазное общество должно быть наконец преодолено. Это не значит, что в ряде отношений взгляды прогрессивных интеллектуалов в западных странах не являются глубоко патологичными. Однако те, кто считает, что будущее за социализмом, слишком стары или слишком маргинальны для реального политического сознания своих обществ.

Могут возразить, что для североатлантического мира угроза социалистической альтернативы никогда не была реальной, — в последние десятилетия ее подкрепляли главным образом успехи, достигнутые за пределами этого региона. Однако именно в неевропейском мире нас поражают грандиозные идеологические преобразования, и особенно это касается Азии. Благодаря силе и способности к адаптации своих культур, Азия стала в самом начале века ареной борьбы импортированных западных идеологий. Либерализм в Азии был очень слаб после Первой мировой войны; легко забывают, сколь унылым казалось политическое будущее Азии всего десять или пятнадцать лет назад. Забывают и то, насколько важным представлялся исход идеологической борьбы в Азии для мирового политического развития в целом.

версальность, — конечно, не в смысле национализма, т. к. последний «исключителен» по определению, а в смысле уверенности движения в своем праве господствовать над другими народами. Так, имперская Япония может быть квалифицирована как фашистская, а Парагвай при диктаторе Стресснере или Чили при Пиночете — нет. Очевидно, что фашистские идеологии не могут быть универсальными в смысле марксизма или либерализма, однако структура доктрины может кочевать из страны в страну,

Первой решительно разгромленной азиатской альтернативой либерализму был фашизм, представленный имперской Японией. Подобно его германскому варианту, он был уничтожен силой американского оружия; победоносные Соединенные Штаты и навязали Японии либеральную демократию. Японцы, конечно, преобразовали почти до неузнаваемости западный капитализм и политический либерализм<sup>12</sup>. Многие американцы теперь понимают, что организация японской промышленности очень отличается от американской или европейской, а фракционное маневрирование внутри правящей либерально-демократической партии с большим сомнением можно называть демократией. Тем не менее сам факт, что существенные элементы экономического и политического либерализма привились в уникальных условиях японских традиций и институций, свидетельствует об их способности к выживанию. Еще важнее — вклад Японии в мировую историю. Следуя по стопам Соединенных Штатов, она пришла к истинно универсальной культуре потребления — этому и символу, и фундаменту общечеловеческого государства. В. С. Найпол, путешествуя по хомейнистскому Ирану сразу после революции, отмечал повсеместно встречающуюся и как всегда неоправданную рекламу продукции «Сони», «Хитачи», «Джи-ви-си», — что, конечно, указывало на лживость претензий режима восстановить государство, основанное на законе Шариата. Желание приобрести к культуре потребления, созданной во многом Японией, играет решающую роль в распространении по всей Азии экономического и, следовательно, политического либерализма.

Экономический успех других стран Азии, вставших, по примеру Японии, на путь индустриализации, сегодня всем известен. С гегельянской точки зрения важно то, что политический либерализм идет вслед за либерализмом экономическим, — медленнее, чем многие надеялись, однако, по-видимому, неотвратно. И здесь мы снова видим победу идеи общечеловеческого государства. Южная Корея стала современным, урбанизированным обществом со все увеличивающимися и хорошо образованным средним классом, который не может изолироваться от происходящих демократических процессов. В этих обстоятельствах для большей части населения было невыносимым правление отжившего военного режима, — в то время как Япония, всего на десятилетие ушедшая вперед в экономике, уже более сорока лет располагала парламентскими институтами. Даже социалистический режим в Бирме, просуществовавший в течение многих десятилетий в унылой изоляции от происходивших в Азии важных процессов, в прошлом году перенес ряд потрясений, связанных со стремлением к либерализации экономической и политической системы. Говорят, что несчастья диктатора Не Вина начались, когда старший офицер армии Бирмы отправился в Сингапур на лечение и впал в депрессию, увидев, как далеко отстала социалистическая Бирма от своих соседей по АСЕАНу.

Но сила либеральной идеи не была бы столь впечатляющей, не затронула она величайшую и старейшую в Азии культуру — Китай. Само существование коммунистического Китая создавало альтернативный полюс идеологического притяжения и в качестве такового представляло угрозу для либерализма. Но за последние пятнадцать лет марксизм-ленинизм как экономическая система был практически полностью дискредитирован. Начиная со знаменитого Третьего пленума Десятого Центрального Комитета в 1978 г. китайская компартия принялась за деколлективизацию сельского хозяйства, охватившую 800 миллионов китайцев. Роль государства в сельском хозяйстве была сведена к сбору налогов, резко увеличено было производство предметов потребления, с той целью, чтобы привить крестьянам вкус к общечеловеческому государству и тем самым стимулировать их труд. В результате реформы всего за пять лет производство зерна было удвоено; одновременно у Дэн Сяопина появилась солидная политическая база, позволившая распространить реформу на другие сферы экономики. А кроме того, никакой экономической стати-

<sup>12</sup> Пример Японии я привожу с долей осторожности; в конце жизни Кожев пришел к выводу, что, как доказала Япония с ее культурой, общечеловеческое государство не одержало победы, и история, возможно, не завершилась. См. длинное примечание в конце второго издания *Introduction à la Lecture de Hegel*, p. 462—463.



стике не отразить динамизма, инициативы и открытости, которые проявил Китай, когда началась реформа.

Китай никак не назовешь сегодня либеральной демократией. На рыночные рельсы переведено не более 20 процентов экономики, и, что важнее, страной продолжает заправлять сама себя назначившая коммунистическая партия, не допускающая и тени намека на возможность передачи власти в другие руки. Дэн не дал ни одного из горбачевских обещаний, касающихся демократизации политической системы, не существует и китайского эквивалента гласности. Китайское руководство проявляет гораздо больше осмотрительности в критике Мао и маоизма, чем Горбачев в отношении Брежнева и Сталина, и режим продолжает платить словесную дань марксизму-ленинизму как своему идеологическому фундаменту. Однако каждый, кто знаком с мировоззрением и поведением новой технократической элиты, правящей сегодня в Китае, знает, что марксизм и идеологический диктат уже не имеют никакой политической значимости и что впервые со времени революции буржуазное потребительство обрело в этой стране реальный смысл. Различные сдвиги в ходе реформы, кампании против «духовного загрязнения» и нападки на политические «отклонения» следует рассматривать как тактические уловки, применяемые в процессе осуществления исключительно сложного политического перехода. Уклоняясь от решения вопроса о политической реформе и одновременно переводя экономику на новую основу, Дэн сумел избежать того «подрыва устоев», который сопровождает горбачевскую перестройку. И все же притягательность либеральной идеи остается очень сильной, по мере того как экономическая власть переходит в руки людей, а экономика становится более открытой для внешнего мира. В настоящий момент более 20 000 китайских студентов обучается в США и других западных странах, практически все они — дети китайской элиты. Трудно поверить, что, вернувшись домой и включившись в управление страной, они допустят, чтобы Китай оставался единственной азиатской страной, не затронутой общедемократическим процессом. Студенческие демонстрации, впервые происшедшие в декабре 1986 г. в Пекине и повторившиеся недавно в связи со смертью Ху Яобана, — лишь начало того, что неизбежно превратится в ширящееся движение за изменение политической системы.

Однако, при всей важности происходящего в Китае, именно события в Советском Союзе — «родине мирового пролетариата» — забывают последний гвоздь в крышку гроба с марксизмом-ленинизмом. В смысле официальных институтов власти не так уж много изменилось за те четыре года, что Горбачев у власти: свободный рынок и кооперативное движение составляют ничтожную часть советской экономики, продолжающей оставаться централизованно-плановой; политическая система по-прежнему в руках компартии, которая только начала демократизироваться и делиться властью с другими группами; режим продолжает утверждать, что его единственное стремление — модернизировать социализм и что его идеологической основой остается марксизм-ленинизм; наконец, Горбачеву противостоит потенциально могущественная консервативная оппозиция, способная вернуть многое на круги своя. Кроме того, к шансам предложенных Горбачевым реформ как в сфере экономики, так и в политике трудно относиться оптимистически. Однако моя задача здесь заключается не в том, чтобы дать анализ ближайших событий или что-то предсказывать; мне важно увидеть глубинные тенденции в сфере идеологии и сознания. А в этом отношении ясно, что преобразования просто паразитальны.

Эмигранты из Советского Союза сообщают, что практически никто в стране больше не верит в марксизм-ленинизм, и нагляднее всего это проявляется в среде советской элиты, произносящей марксистские лозунги из чистого цинизма. Причем, коррупция и разложение позднережневского советского государства мало что значили, ибо до тех пор пока само государство отказывалось усомниться в любом из фундаментальных принципов, лежащих в основе советского общества, система была способна функционировать просто по инерции и даже проявлять динамизм в области внешней политики и обороны. Марксизм-ленинизм был своего рода магическим заклинанием, это была единственная общая основа, опираясь на которую элита соглашалась управлять советским обществом. И несомненно, насколько все это было абсурдным и бессмысленным.

То, что произошло за четыре года после прихода Горбачева к власти, представляет собой революционный штурм самых фундаментальных институтов и принципов сталинизма и их замену другими, еще не либеральными в собственном смысле слова, но связанными между собой именно либерализмом. Это наиболее очевидно в экономической сфере, где экономисты-реформаторы вокруг Горбачева заняли радикальную позицию в поддержке свободного рынка, так что, например, Николай Шмелев не возражает, когда его публично сравнивают с Милтоном Фридманом. Сегодня среди экономистов налицо согласие по поводу того, что центральное планирование и командная система распределения — главная причина экономической неэффективности и что если советская система когда-либо примется лечить свои болезни, то должна разрешить свободное и децентрализованное принятие решений в отношении вложений, найма и цен. После двух первых лет идеологической неразберихи эти принципы были наконец внедрены в политику с принятием новых законов о самостоятельности предприятий, о кооперативах и, наконец, в 1988 г. — об аренде и семейном фермерстве. Имеется, конечно, ряд фатальных ошибок в осуществлении реформы, наиболее серьезная среди них — отказ от решительного пересмотра цен. Однако дело теперь не в концепции: Горбачев и его команда, кажется, достаточно хорошо поняли экономическую логику введения рынка, но, подобно лидерам государств третьего мира, столкнувшимся с МВФ (Международным валютным фондом), страшатся социальных последствий отказа от потребительских субсидий и других форм зависимости людей от государственного сектора.

В политической сфере предложенные изменения в конституции, правовой системе и партии далеко не равнозначны установлению либерального государства. Горбачев говорит о демократизации главным образом внутри партии, а не о том, чтобы покончить с партийной монополией на власть; по существу, политическая реформа стремится узаконить и тем самым усилить власть КПСС<sup>13</sup>. Тем не менее общие положения, составляющие основу многих реформ, — о народном «самоуправлении»; о том, что вышестоящие политические органы подотчетны нижестоящим, а не наоборот; что закон должен стоять выше произвольных действий полиции и опираться на разделение властей и независимый суд; что права собственности должны быть защищены; что необходимо открытое обсуждение общественно значимых вопросов и право на публичное несогласие; что Советы, в которых может участвовать весь народ, должны быть наделены властью; что политическая культура должна стать более терпимой и плюралистической, — все эти принципы исходят из источника, глубоко чуждого марксистско-ленинской традиции, даже несмотря на то, что они плохо сформулированы и еле-еле работают на практике.

Неоднократные утверждения Горбачева, будто он стремится вернуться к первоначальному смыслу ленинизма, сами по себе лишь вариант оруэлловской «двойной речи». Горбачев и его союзники настойчиво повторяют, что внутрипартийная демократия — что-то вроде сущности ленинизма и что открытые дискуссии, тайное голосование на выборах, власть закона — суть ленинское наследие, извращенное Сталиным. И хотя почти любой человек рядом со Сталиным будет выглядеть ангелом, столь жесткое противопоставление Ленина и его преемника представляется неубедительным. Сущностью демократического централизма Ленина является именно централизм, а не демократия. Это абсолютно жесткая, монолитная, основанная на дисциплине диктатура иерархически организованного авангарда коммунистической партии, выступающего от имени народа. Вся непристойная полемика Ленина с Карлом Каутским, Розой Люксембург и другими соперниками из числа меньшевиков и социал-демократов, не говоря уже о презрении к «буржуазной законности» и буржуазным свободам, основывались на его глубоком убеждении, что с помощью демократической организации осуществить революцию невозможно.

Заявления Горбачева вполне можно понять: полностью развенчав сталинизм и брежневизм, обвинив их в сегодняшних трудностях, он нуждается в какой-то точке опоры, чтобы было чем обосновать законность власти КПСС. Однако тактика Горбачева не должна скрывать от нас того факта, что принципы демократизации и де-

<sup>13</sup> В Польше и Венгрии компартии, напротив, предприняли шаги в направлении плюрализма и подлинного разделения властей.

централизации, которые он провозгласил в экономической и политической сфере, крайне разрушительны для фундаментальных установок как марксизма, так и ленинизма. Если бы большая часть предложений по экономической реформе была реализована, то трудно было бы сказать, чем же советская экономика отличается от экономики тех западных стран, которые располагают большим национализированным сектором.

В настоящее время Советский Союз никак не может считаться либеральной или демократической страной; и вряд ли перестройка будет столь успешной, чтобы в каком-либо обозримом будущем к этой стране можно было применить подобную характеристику. Однако в конце истории нет никакой необходимости, чтобы либеральными были все общества, достаточно, чтобы были забыты идеологические претензии на иные, более высокие формы общежития. И в этом плане в Советском Союзе за последние два года произошли весьма существенные изменения: критика советской системы, санкционированная Горбачевым, оказалась столь глубокой и разрушительной, что шансы на возвращение к сталинизму или брежневизму весьма невелики. Горбачев наконец позволил людям сказать то, что они понимали в течение многих лет, а именно, что магические заклинания марксизма-ленинизма — бессмыслица, что советский социализм не великое завоевание, а по существу грандиозное поражение. Консервативная оппозиция в СССР, состоящая из простых рабочих, боящихся безработицы и инфляции, и из партийных чиновников, которые держатся за места и привилегии, открыто, не прячась высказывает свои взгляды и может оказаться достаточно сильной, чтобы в ближайшие годы сместить Горбачева. Но обе эти группы выступают всего только за сохранение традиций, порядка и устоев; они не привержены сколько-нибудь глубоко марксизму-ленинизму, разве что вложили в него большую часть жизни<sup>14</sup>. Восстановление в Советском Союзе авторитета власти после разрушительной работы Горбачева возможно лишь на основе новой и сильной идеологии, которой, впрочем, пока не видно на горизонте.

\* \* \*

Допустим на мгновение, что фашизма и коммунизма не существует: остаются ли у либерализма еще какие-нибудь идеологические конкуренты? Или иначе: имеются ли в либеральном обществе какие-то неразрешимые в его рамках противоречия? Напрашиваются две возможности: религия и национализм.

Все отмечают в последнее время подъем религиозного фундаментализма в рамках христианской и мусульманской традиций. Некоторые склонны полагать, что оживление религии свидетельствует о том, что люди глубоко несчастны от безличия и духовной пустоты либеральных потребительских обществ. Однако хотя пустота и имеется и это, конечно, идеологический дефект либерализма, из этого не следует, что нашей перспективой становится религия<sup>15</sup>. Совсем не очевидно и то, что этот дефект устраним политическими средствами. Ведь сам либерализм появился тогда, когда основанные на религии общества, не столкнувшись по вопросу о благой жизни, обнаружили свою неспособность обеспечить даже минимальные условия для мира и стабильности. Теократическое государство в качестве политической альтернативы либерализму и коммунизму предлагается сегодня только исламу. Однако эта доктрина малопривлекательна для немусульман, и трудно себе представить, чтобы это движение получило какое-либо распространение. Другие, менее организованные религиозные импульсы с успехом удовлетворяются в сфере частной жизни, допускаемой либеральным обществом.

Еще одно «противоречие», потенциально неразрешимое в рамках либерализма, — это национализм и иные формы расового и этнического сознания. И действительно, значительное число конфликтов со времени битвы при Йене было вызвано нацио-

<sup>14</sup> Это в особенности относится к лидеру советских консерваторов, бывшему второму секретарю Егору Лигачеву, публично признавшему многие серьезные пороки брежневского периода.

<sup>15</sup> Я думаю прежде всего о Руссо и идущей от него философской традиции, весьма критически настроенной в отношении локковского и гоббсовского либерализма, хотя либерализм можно критиковать и с точки зрения классической политической философии.

нализмом. Две чудовищные мировые войны в этом столетии порождены национализмом в различных его обличьях; и если эти страсти были до какой-то степени погашены в послевоенной Европе, то они все еще чрезвычайно сильны в третьем мире. Национализм представлял опасность для либерализма в Германии, и он продолжает грозить ему в таких изолированных частях «постисторической» Европы, как Северная Ирландия.

Неясно, однако, действительно ли национализм является неразрешимым для либерализма противоречием. Во-первых, национализм неоднороден, это не одно, а несколько различных явлений — от умеренной культурной ностальгии до высокоорганизованного и тщательно разработанного национал-социализма. Только систематические национализмы последнего рода могут формально считаться идеологиями, сопоставимыми с либерализмом или коммунизмом. Подавляющее большинство националистических движений в мире не имеет политической программы и сводится, к стремлению обрести независимость от какой-то группы или народа, не предлагая при этом сколько-нибудь продуманных проектов социально-экономической организации. Как таковые, они совместимы с доктринами и идеологиями, в которых подобные проекты имеются. Хотя они и могут представлять собой источник конфликта для либеральных обществ, этот конфликт вытекает не из либерализма, а скорее из того факта, что этот либерализм осуществлен неполностью. Конечно, в значительной мере этническую и националистическую напряженность можно объяснить тем, что народы вынуждены жить в недемократических политических системах, которых сами не выбирали.

Нельзя исключить того, что внезапно могут появиться новые идеологии или не замеченные ранее противоречия (хотя современный мир, по-видимому, подтверждает, что фундаментальные принципы социально-политической организации не так уж изменились с 1806 г.). Впоследствии многие войны и революции совершались во имя идеологий, провозглашавших себя более передовыми, чем либерализм, но история в конце концов разоблачила эти претензии.

#### IV

Что означает конец истории для сферы международных отношений? Ясно, что большая часть третьего мира будет оставаться на задворках истории и в течение многих лет служить ареной конфликта. Но мы сосредоточим сейчас внимание на более крупных и развитых странах, ответственных за большую часть мировой политики. Россия и Китай в обозримом будущем вряд ли присоединятся к развитым нациям Запада; но представьте на минуту, что марксизм-ленинизм перестает быть фактором, движущим внешнюю политику этих стран, — вариант если еще не превратившийся в реальность, однако ставший в последнее время вполне возможным. Чем тогда деидеологизированный мир в сумме своих характеристик будет отличаться от того мира, в котором мы живем?

Обычно отвечают: вряд ли между ними будут какие-либо различия. Ибо весьма распространено мнение, что идеология — лишь прикрытие для великодержавных интересов и что это служит причиной достаточно высокого уровня соперничества и конфликта между нациями. Действительно, согласно одной популярной в академическом мире теории, конфликт присущ международной системе как таковой, и чтобы понять его перспективы, следует смотреть на форму системы — например, является она биполярной или многополярной, а не на образующие ее конкретные нации и режимы. В сущности, здесь гоббсовский взгляд на политику применен к международным отношениям: агрессия и небезопасность берутся не как продукт исторических условий, а в качестве универсальных характеристик общества.

Следующие этой линии размышлений берут в качестве модели деидеологизированного мира отношения, существовавшие в европейском балансе девятнадцатого века. Чарлз Краутзммер, например, написал недавно, что если в результате горбачевских реформ СССР откажется от марксистско-ленинской идеологии, то произойдет возвращение страны к политике Российской империи прошлого века<sup>16</sup>. Считая,

<sup>16</sup> См.: Krauthammer Ch. Beyond the Cold War. — «New Republic», December 19, 1988.

что уж лучше это, чем исходящая от коммунистической России угроза, он делает вывод: соперничество и конфликты продолжатся в том виде, как это было, скажем, между Россией и Великобританией или кайзеровской Германией. Это, конечно, удобная точка зрения для людей, признающих, что в Советском Союзе происходит нечто важное, но не желающих брать на себя ответственность и рекомендовать вытекающий отсюда радикальный пересмотр политики. Но — правильна ли эта точка зрения?

Достаточно спорно, что идеология — лишь надстройка над непреходящими интересами великой державы. Ибо тот способ, каким государство определяет свой национальный интерес, не универсален, он покоится на предшествующем идеологическом базисе так же, как экономическое поведение — на предшествующем состоянии сознания. В этом столетии государства усвоили себе весьма разработанные доктрины с недвусмысленными, узаконивающими экспансионизм внешнеполитическими программами.

Экспансионизм и соперничество в девятнадцатом веке основывались на не менее «идеальном» базисе; просто так уж вышло, что движущая ими идеология была не столь разработана, как доктрины двадцатого столетия. Во-первых, самые «либеральные» европейские общества были нелиберальны, поскольку верили в законность империализма, то есть в право одной нации господствовать над другими нациями, не считаясь с тем, желают ли эти нации, чтобы над ними господствовали. Оправдание империализму у каждой нации было свое: от грубой веры в то, что сила всегда права, в особенности если речь шла о неевропейцах, до признания Великого Бременя Белого Человека, и христианизирующей миссии Европы, и желания «дать» цветным культуру Рабле и Мольера. Но каким бы ни был тот или иной идеологический базис, каждая «развитая» страна верила в приемлемость господства высшей цивилизации над низшими. Это привело, во второй половине столетия, к территориальным захватам и в немалой степени послужило причиной мировой войны.

Безобразным порождением империализма девятнадцатого столетия был германский фашизм — идеология, оправдывавшая право Германии господствовать не только над неевропейскими, но и над всеми негерманскими народами. Однако — в ретроспективе — Гитлер, по-видимому, представлял нездоровую боковую ветвь в общем ходе европейского развития. Со времени его феерического поражения законность любого рода территориальных захватов была полностью дискредитирована<sup>17</sup>. После Второй мировой войны европейский национализм был обезврежен и лишился какого-либо влияния на внешнюю политику, с тем следствием, что модель великодержавного поведения XIX века стала настоящим анахронизмом. Самой крайней формой национализма, с которой пришлось столкнуться западно-европейским государствам после 1945 года, был голлизм, самоутверждавшийся в основном в сфере культуры и политических наскоков. Международная жизнь в той части мира, которая достигла конца истории, в гораздо большей степени занята экономикой, а не политикой или военной стратегией.

Разумеется, страны Запада укрепляли свою оборону и в послевоенный период активно готовились к отражению мировой коммунистической опасности. Это, однако, диктовалось внешней угрозой и не существовало бы, не будь государств, открыто исповедовавших экспансионистскую идеологию. Чтобы принять «неореалистическую» теорию всерьез, нам надо поверить, что, исчезни Россия и Китай с лица земли, «естественное» поведение в духе соперничества вновь утвердилось бы среди государств ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). То есть Западная Германия и Франция вооружались бы, оглядываясь друг на друга, как они это делали в 30-е годы, Австралия и Новая Зеландия направляли бы военных советников, борясь за влияние в Африке, а на границе между Соединенными Штатами и Канадой были бы возведены укрепления. Такая перспектива, конечно, нелепа: не будь марксистско-ленинской идеологии, мы имели бы, скорее всего, «об-

<sup>17</sup> Европейским колониальным державам, например Франции, понадеялись после войны несколько лет, чтобы признать незаконность своих империй; но это было неизбежно как следствие победы союзников, обещавших восстановление демократических свобод.

щий рынок» в мировой политике, а не распавшееся ЕЭС и конкуренцию образца девятнадцатого века. Как доказывает наш опыт общения с Европой по проблемам терроризма или Ливии, европейцы пошли гораздо дальше нас в отрицании законности применения силы в международной политике, даже в целях самозащиты.

Следовательно, предположение, что Россия, отказавшись от экспансионистской коммунистической идеологии, начнет опять с того, на чем остановилась перед большевистской революцией, просто курьезно. Неужели человеческое сознание все это время стояло на месте и Советы, подхватывающие сегодня модные идеи в сфере экономики, вернутся к взглядам, устаревшим уже столетие назад? Ведь не произошло же этого с Китаем после того, как он начал свою реформу. Китайский экспансионизм практически исчез: Пекин более не выступает в качестве спонсора маоистских инсургентов и не пытается насаждать свои порядки в далеких африканских странах, — как это было в 60-е годы. Это не означает, что в современной китайской внешней политике не осталось тревожных моментов, таких как безответственная продажа технологии баллистических ракет на Ближний Восток или финансирование красных кхмеров в их действиях против Вьетнама. Однако первое объяснимо коммерческими соображениями, а второе — след былых, вызванных идеологическими мотивами трений. Новый Китай гораздо больше напоминает голлистскую Францию, чем Германию накануне Первой мировой войны.

Наше будущее зависит, однако, от того, в какой степени советская элита усвоит идею общечеловеческого государства. Из публикаций и личных встреч я делаю однозначный вывод, что собравшаяся вокруг Горбачева либеральная советская интеллигенция пришла к пониманию идеи конца истории за удивительно короткий срок; и в незначительной степени это результат контактов с европейской цивилизацией, происходивших уже в послебрежневскую эру. «Новое политическое мышление» рисует мир, в котором доминируют экономические интересы, отсутствуют идеологические основания для серьезного конфликта между нациями и в котором, следовательно, применение военной силы становится все более незаконным. Как заявил в середине 1988 г. министр иностранных дел Шеварднадзе: «...противоборство двух систем уже не может рассматриваться как ведущая тенденция современной эпохи. На современном этапе решающее значение приобретает способность ускоренными темпами на базе передовой науки, высокой техники и технологии наращивать материальные блага и справедливо распределять их, соединенными усилиями восстанавливать и защищать необходимые для самовывживания человечества ресурсы»<sup>18</sup>.

Постисторическое сознание, представленное «новым мышлением», — единственно возможное будущее для Советского Союза. В Советском Союзе всегда существовало сильное течение великорусскогошовинизма, получившее с приходом гласности большую свободу самовыражения. Вполне возможно, что на какое-то время произойдет возврат к традиционному марксизму-ленинизму, просто как к пункту сбора для тех, кто стремится восстановить подорванные Горбачевым «устой». Но, как и в Польше, марксизм-ленинизм мертв как идеология, мобилизующая массы: под его знаменем людей нельзя заставить трудиться лучше, а его приверженцы утратили уверенность в себе. В отличие от пропагандистов традиционного марксизма-ленинизма, ультранационалисты в СССР страстно верят в свое славянофильское призвание, и создается ощущение, что фашистская альтернатива здесь еще вполне жива.

Таким образом, Советский Союз находится на распутье: либо он вступит на дорогу, которую сорок пять лет назад избрала Западная Европа и по которой последовало большинство азиатских стран, либо, уверенный в собственной уникальности, застрянет на месте. Сделанный выбор будет иметь для нас огромное значение: ведь, если учесть территорию и военную мощь Союза, он по-прежнему будет поглощать наше внимание, мешая осознанию того, что мы находимся уже по ту сторону истории.

<sup>18</sup> «Вестник Министерства Иностранных Дел СССР», № 15 (август 1988), стр. 27—46. «Новое мышление» служит, разумеется, и пропагандистской цели — убедить западную аудиторию в благих намерениях Советов. Однако это не означает, что многие из этих идей не выдвигаются всерьез.

Исчезновение марксизма-ленинизма сначала в Китае, а затем в Советском Союзе будет означать крах его как жизнеспособной идеологии, имеющей всемирно-историческое значение. И хотя где-нибудь в Манагуа, Пхеньяне или Кембридже (штат Массачусетс) еще останутся отдельные правоверные марксисты, тот факт, что ни у одного крупного государства эта идеология не останется на вооружении, окончательно подорвет ее претензии на авангардную роль в истории. Ее гибель будет одновременно означать расширение «общего рынка» в международных отношениях и снизит вероятность серьезного межгосударственного конфликта.

! Это ни в коем случае не означает, что международные конфликты вообще исчезнут. Ибо и в это время мир будет разделен на две части: одна будет принадлежать истории, другая — постистории. Конфликт между государствами, принадлежащими постистории, и государствами, принадлежащими вышеупомянутым частям мира, будет по-прежнему возможен. Сохранится высокий и даже все возрастающий уровень насилия на этнической и националистической почве, поскольку эти импульсы не исчерпают себя и в постисторическом мире. Палестинцы и курды, сикхи и тамилы, ирландские католики и валлийцы, армяне и азербайджанцы будут копить и лелеять свои обиды. Из этого следует, что на повестке дня останутся и терроризм, и национально-освободительные войны. Однако для серьезного конфликта нужны крупные государства, все еще находящиеся в рамках истории; а они-то как раз и уходят с исторической сцены.

Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого — экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. (Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому времени, когда история существовала. Какое-то время эта ностальгия все еще будет питать соперничество и конфликт. Признавая неизбежность постисторического мира, я испытываю самые противоречивые чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 года, с ее североатлантической и азиатской ветвями. Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?)

## «Конец истории»: идеологизм и реализм

Ю. А. ЗАМОШКИН

Статья Френсиса Фукуямы написана в особом жанре, традиционно распространенном за рубежом, особенно в США, и лишь в самые последние годы приобретает популярность и у нас в стране. Автор, этот жанр избирающий, сознательно идет на высказывание суждений, по форме обобщенно-афористичных, неожиданных, нарочито категоричных, парадоксальных, бросающих вызов привычным мыслительным схемам. У статей такого жанра больше шансов стать сенсацией и привлечь внимание читателя, который пресыщен обилием и разнообразием точек зрения, читателя, чья реакция на дискуссии и споры может притупляться из-за их умело поддерживаемой остроты и напряженности.